

Евгений Лазарев.

Евгений Васильевич Лазарев. Лауреат литературных премий имени Василия Шукшина и Алексея Толстого, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства.

В двадцать шесть лет он стал членом Союза писателей СССР. И столько же, двадцать шесть лет подряд, руководил Куйбышевской (а ныне – Самарской) областной организацией Союза писателей. Евгений Лазарев писал рассказы. Писал нечасто и немного. Относился к каждому напечатанному слову невероятно ответственно.

ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО СЛОВА

Скупые строки биографии: «Евгений Васильевич Лазарев. Родился третьего декабря 1938 года в деревне Булкуновка Елховского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский педагогический институт и Высшие литературные курсы. Служил в Советской Армии, работал учителем, корреспондентом областной газеты «Волжская коммуна», с 1978 по 2004 год был ответственным секретарем, председателем правления Куйбышевской (Самарской) областной писательской организации...»

Автор сборников рассказов «Я люблю Вас, Колька», «Шла весна», «Каткины слезы», «Сеновал», «Синее небо после дождя», «Липа вековая» – Евгений Васильевич Лазарев, по мнению литературоведов, был одним из самых ярких представителей так называемой «советской деревенской прозы». В его небольших рассказах все жизненно, все достоверно и при этом художественно. Сочность деталей, ясность мысли, глубина суждений, чистота русского языка – все это из его сельского детства, из юности. Рассказы Женя Лазарев начал писать на первом-втором курсах Куйбышевского пединститута. Учился на биолога, а стал писателем.

Галина ГОРЕЛОВА, сокурсница Евгения Лазарева по Куйбышевскому пединституту, подруга семьи Лазаревых:

– Жили мы в общежитии: Женя Лазарев – в пятой комнате, мы – в десятой. Времена были голодные, питались плохо, а жили дружно. Все мы сельские. Мальчишек у нас на курсе было человек пять, мы к ним поначалу относились не очень серьезно, задирали их, подсмеивались над ними. Помню, на втором курсе – жара, лето, и мальчишки решили над нами, девчонками, посмеяться. Наберут стакан воды и обливают нас. Мы в отместку ведро нальем – и на них! Залили мы тогда всю их комнату, прибежала комендант, вызвали декана: «К отчислению! Всех к отчислению!» Но как-то, знаете ли, обошлось, не отчислили...

Женя Лазарев был человеком с юмором, с иронией. Со студенческих лет дружил он с Мишей Гореловым, моим будущим мужем. На экзамен, на зачет мы, девчонки, шли с утра пораньше. Волновались, конечно, очень! А мальчишки спали, на экзамен не спешили. Такая у них была житейская мудрость. Женя Лазарев был плотненький, но гимнастикой занимался, разряд имел. Все мы пели в хоре, занимались спортом. Курс у нас был дружный, всю жизнь мы дружим, всю жизнь встречаемся, общаемся. Женя Лазарев был душой нашей компании...

Одна зарисовка из жизни, затем другая. Одна заметка, другая. Он не мечтал быть журналистом или писателем. Писал о том, что знал, что пережил сам. Не любил фантазировать, старался разглядеть в том, что вокруг, что-то на первый взгляд неброское, но душевное.

Сельский паренек, выпускник Куйбышевского педагогического института, в 1957 году он начал публиковать свои рассказы и очерки в областных газетах. Не пройдет и пять лет, как к Евгению Лазареву невероятно рано по советским временам придет писательская слава – первая книга прозы в двадцать четыре года!

**ЗЕМЛЯ
И ЛЮДИ**

P2
Л17



ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ

**СИНЕЕ НЕБО
ПОСЛЕ
ДОЖДЯ**

СИНЕЕ НЕБО ПОСЛЕ ДОЖДЯ



В то апрельское утро...

Бабка Лукерья не ложилась до полуночи, ждала, когда придет новый постоялец, а он все не шел и не шел. Старуха совсем было собралась гасить лампу, как в сенях послышались грузные шаги Прохорова. Он вошел с нахмуренным и сердитым лицом, долго и сумрачно скидал сапоги у порога, на вопрос Лукерьи, выбрали его или не выбрали председателем, ответил неохотно:

— Выбрали...

— А я гляжу, ты вроде тверезый—ну, значит, не выбрали, думаю. У нас как нового выберут, обмывают дни два...

Прохоров, ничего не ответив, сел на испуганно охнувшую под ним табуретку, уперся руками в колени и стал пристально глядеть на огонь. Его сторбленная, с поднятыми плечами фигура бросала на стену большую диковатую тень.

— А ты не шибко тужи,—сказала старуха,—чай, не навек это. Бог даст, и снимут. Поешь молочка вот: вечерошник.

Прохоров велел разбудить себя часов в пять, но проснулся раньше, вышел на маленькое покосившееся крыльцо с плоским синим камнем вместо нижней ступеньки и, прислонившись к косяку, долго дышал

сладким туманом апрельского утра. Он с каким-то отчуждением смотрел на нелепо раскиданную по оврагу деревню, на ободранный и пегий, но все еще величавый остов церкви, на дымящуюся светлую воду маленькой речки под горой, по правому берегу которой пежно начинали зеленеть ничем не огороженные и, как видно, запущенные вишневые сады.

Прохоров все старался и не мог пока свыкнуться с мыслью, что в этой вот незнакомой, чужой деревне будет он жить и работать председателем. Когда вчера на собрании секретарь райкома Лопатин поставил вопрос о Прохорове на голосование, кто-то в зале насмешливо сказал:

— Подымай руки, ребята, Чай, хуже не будет.

Смутить Прохорова было нелегко. Цену он себе знал. До того, как «кинули» в Грачевку, десять лет работал председателем в другом районе. Но все равно как-то неуютно стало ему от этой выжидательной насмешливости. И сейчас, глядя на равнодушную к нему деревенскую улицу, мрачновато думал Прохоров о том, как же тяжела эта окаянная должность и как здорово было бы поработать хоть с годик ночным сторожем, чтобы отдежурить ночь, прийти домой на солнечном восходе, хлебать щи и ни о чем не думать.

— Ну ладно,—сказал сам себе Прохоров,—гляди веселее.

Он спрыгнул с крыльца и зашагал по ломающейся вдоль берега улице. До мая оставалось немного. Скучные, серые косогоры над деревней уже начинали застенчиво зеленеть, в воздухе стоял упоительный, чистый запах не совсем еще развернувшихся тополиных листьев.

Цепляясь за сухие и ломкие прутья бурьяна, Прохоров спустился по оползающей глиняной круче на низкий заливной берег и пошел вдоль речки, заросшей тальником, на котором висели серые клочья речной травы—следы половодья. Другой берег—повыше—был сплошным вишневым садом. Прохоров подумал, какая здесь будет благодать через недельку, когда вишня зацветет.

Выйдя за деревню, он остановился возле длинного полураскрытого строения с голыми ребрами стропил и маленькими мутными окошечками.

Прохоров отворил дверь, из темного тоннеля свинарника в него ударил тяжелый, настоявшийся звериный

запах. Длиннорылые, по-собачьи поджарые свиньи, завидев Прохорова, заскулили еще дружнее и тоскливее—просили жрать. Чавкая сапогами по навозной жиже, Прохоров медленно шел разбитым проходом. Почти физически ощутил он, как тяжелое председательское бремя ложится ему на плечи.

Выйдя на улицу, он невольно сощурился от ударившего по глазам чистого и ясного света. Равнодушная и пустая весенняя благодать висела над сонными окрестностями. Громадный курган навоза элегически дымился. Грязное свиное рыло просунулось сквозь развалившийся угол и, хлопая сивыми ресницами, долго глядело на председателя коричневыми скорбными глазами.

Повязанная полинялым зеленым платком баба везла от речки на сивой вислобрюхой лошади бочку с водой.

— Н-но, колода!—кричала она, зло дергая вожжами. Вода в бочке глухо стреляла и высоко плескалась крупными белесыми брызгами. Подъехав к коровнику, баба недружелюбно взглянула на Прохорова и принялась сливать воду в большую деревянную бочку.

— Здравствуйте, — сказал Прохоров. — Хозяйка тут, что ли?

— А тебе чего?

— Как чего? Я председатель ваш новый, Прохоров. Не переставая сливать воду, она сердито буркнула:

— Свинарка я...

— Чего же у тебя, тетка, свиньи-то орут?

— А хоть бы и передохли все, — вызывающе сказала баба.—Я бы перекрестилась!

— Это почему же?

Баба ничего не ответила, громко и озлобленно бухала ведром в пустеющую бочку. Потом повернула к Прохорову худое коричневое лицо (от желтых ключиц углом расходились у нее на шее две жиловатые складки), закричала с надрывом:

— А с чего мне ваших свиней жалеть? Я вот тут восьмой год в дерьме вожусь—за какой шиш? Вчера девчонки привязались: купи да купи им сандалии. Май на дворе, а они в резиновых сапогах в школу ходят. На что я куплю? Вчера и побила их обеих. Сама всю ночь проревела.

Баба сморщилась, концом платка стала собирать со щек слезы.

— Ты вот первым делом свиной глядеть пришел. А ты сперва поглядел бы, как я живу. Вон, видишь мою мазанку? — Она указала рукой на низенький завалившийся домишко.

Прохоров молча слушал бабий крик. Лицо у него стало мрачным и каменным. Черные с подпалиной брови козырьком низко опустились на серые жестковато-холодные глаза.

— Зовут как?

— Краюхина Серафима, — ответила свинарка. — Восьмой год тут работаю. Почему не брошу, сама не знаю. Они вот орут, а мне их жалко.

Грохая и скребя ведром, она принялась вычерпывать из бочки остатки воды. Прохоров смотрел на ее сутулую, напрягающуюся от усилий спину. Пальцы председателя кусочек за кусочком ломали сухой таловый прут.

— Серафима, — сказал он наконец, — ты нынче приди в правление в семь часов.

— Приду, — сказала она, не оборачиваясь, — думаете, я вашей ругани боюсь?

— Мне тебя ругать не за что. Не для того зову. О доме твоём поговорим. Может быть, что-нибудь придумаем всем миром.

Серафима бросила на Прохорова быстрый взгляд, всхлипнула и ничего не сказала.

До шести часов—в шесть условились принимать дела от старого председателя—Прохоров прошел вокруг всей деревни, посмотрел на коровник, курятник, поднялся на лысые просыхающие бугры, от которых начинали тянуться лиловеющие пашни колхозных полей.

По пути ему попалось маленькое деревенское кладбище—горбатенькие холмики заросших могил, сизые с зелеными лишайниками кресты, среди которых выделялся один прямо и крепко стоящий, щемяще новый крест. Прохоров перепрыгнул через неглубокий ров с грязным сугробиком снега на дне, прошел поперек кладбища, читая древние, затертые временем надписи. На одном кресте прочел: «Под сим хрестом поконца раб божий Спирькин Алексей Анисимыч. Нарожден 10. XII. 1903 г. Р. Х. Помир 7. V. 1931 г.» На средней крестовине было выбито: «Погиб от обреза за Советскую власть».

Долго стоял Прохоров у этой могилы. Начинала она

зеленеть и светиться желтенькими наивными глазками куриной слепоты.

— Погоди, Алексей Анисимыч, — проговорил Прохоров вслух. — Памятник тебе поставим со звездой. Дай нам срок.

Надел шапку и крупно зашагал к деревне. У околицы встретился ему старик в бушлате с петлицами ремесленного училища, ведущий на веревке худую коричневую козу.

— Здорово, дедушка!

— Доброго здоровьица.

— Как живете?

— Гы-ы! Живем — колотимся, полежим — перворотимся. Козу вот пасу на привязи, убегает, дьявол.

— Большая семья-то?

— С козой сам-третий буду. Старуха еще есть.

— А кормитесь чем? Работаете?

— Какой из меня работник. Нет. Грамотой промышляю. Книжки читаю старушкам божественным, отпеваю, если случится.

— Кого же отпеваете?

— На кого позовут. Ты умри — и тебя отпою.

— Ну, это воздержусь пока, — криво усмехнулся Прохоров. — И много тебе платят?

— Пирог или сайку дадут, из одежды что-нибудь от покойника — вот и зарплата моя. Айда в подручные!

— Да-а, прыткий ты, видать, дед, — сказал Прохоров. — Ну, а ремесло какое знаешь? Чекушку, допустим, можешь вытесать?

— Я бы, милый, вытесал, да мне ее втыкать некуда, — сказал старик, глядя на Прохорова карими нагловатыми глазами. — Ты што насупился, али я взаймы прошу? Не нравятся мои разговоры, так прощай. На меня много кто косится, а пошто, спросить? Живу я тихо, кормлюсь своим умом. Разве запрещено это? Я ведь Советскую власть тоже люблю. Жду вот, когда коммунизм откроют. Газетки читаю. Жизнь моя на виду — светла и удобопонятна. Любого жителя спроси, украл ли, мол, старик Калиткин из колхоза хоть малую щепоть? Я колхозу сам помогаю. Вчера у них какое-то собрание было, а в лампах керосину нет. Куда пойти? К Калиткину. Я дал бессловесно. И не единожды так было. Колхоз мне теперь восемь сот должен. Вот каков я человек есть.

Калиткин дернул веревку и повел козу дальше, шаркал по серой земле бугра короткими кривыми ногами, обутыми в старые, подвязанные веревочками калоши.

Прохоров долго смотрел ему вслед. Опять почти физически ощутил он бремя своей должности, тяжесть ответственности за все—и за домик Серафимы, и за осыпавшуюся могилу Алексея Анисимыча, и даже за этого вот развращенного бездельем Калиткина, безмятежно живущего с человеческого горя.

Десять лет спустя...

Первая весенняя гроза застала Прохорова в дороге. Он ехал в тарантасе и одет был по-летнему: в парусиновом пиджаке и в новой капроновой шляпе, очень не шедшей к его загорелому крестьянскому лицу. С утра пекло и томило. Конюх, закладываявший Прохорову лошадь, сказал с уверенностью:

— Жди дождя! На машине теперь не езда.

— Прогноз вроде бы не обещает сегодня,—сказал Прохоров, тяжело садясь в тарантас и разбирая вожжи. Конюх пырнул себя большим пальцем в поясницу и пояснил:

— Вот у меня прогноз...

И действительно, не успел председатель проехать и полпути до второй бригады, как за смутными очертаниями Жигулей тяжело и грозно засинела стеной вставшая туча. Какая-то настороженность появилась в воздухе, звучнее и четче стал отпечатываться в тишине перестук лошадиных копыт.

Ударивший дождь был теплым и благостным. Парусиновый пиджак Прохорова сперва запестрел темными отметинами, потом почернел, стал жестким. Лошадь сделалась глянцевою, тонкая ее шея блестела, как тюлений ласт.

— Эх, для посевов-то благодать!—с радостным кряхтеньем бормотал Прохоров, подставляя под упругие скрученные дождевые струи лицо.

Ему захотелось поскорее увидеть кого-нибудь, поговорить о том, как ко времени разразился дождик. Он съехал на заросшую мелкой травой обочину, тронул ло-

шадь вожжой, и она легко понесла сверкавший мокрыми колесами тарантас.

Когда Прохоров подъезжал ко второй бригаде, дождь перестал. Небо расчистилось, и освеженный мир заиграл солнечным огнем, защелкал птицами, закурился теплыми испарениями. Прохоров не стал заезжать в деревню, а поехал вдоль поля по пологому косогору туда, где на ровном возвышении виднелся ряд новых домов под шиферными крышами и высилось большое двухэтажное здание с широкими ясными окнами.

Городок этот был слабостью Прохорова, мечтой, которую он стал вынашивать с того памятного апрельского утра—первого утра своей председательской деятельности. Ложась спать в низкой хатенке бабки Лукерьи, по долгу ворочал в голове неотступно преследующие его картины будущего колхозного житья. Иногда ругал себя: до мечтаний ли? Колхоз еле сводил концы с концами, тяжелые повседневные заботы, казалось, не давали возможности разогнуть голову. А вот поди ж ты—мечталось! Воображение рисовало новое нарядное село с зелеными садами и мощеными дорогами, широкими витринами магазина, с кирпичным клубом, с тихим и прохладным залом библиотеки, с разноголосым щебетом пацанов, копающихся в песке во дворе детского сада.

Десять лет минуло с тех пор. Умерла бабка Лукерья. Голову Прохорова тронула с висков седина, морщинами пали на лицо тяжкие заботы о хозяйстве, и вот в позапрошлом году дала росток его заветная мечта—заложили городок. Он был средоточием успехов колхоза, свидетельством его силы и залогом будущего.

Прошлой весной первые двенадцать семей переселились в городок из старой деревни, нелепо раскиданной по оврагу. В самой крайней избе крепкая чернявая девка, ловко мызгая тряпкой по доскам, мыла крыльцо. Широкий подол сарафана легко летал вокруг ее белых забрызганных ног. Прохоров узнал дочь Серафимы Краюхиной—Тоньку. Давно ли, кажется, девочкой бегала, а теперь вот замужем—сама хозяйка.

— Здравствуй, Антонина!

Та стремительно разогнулась, бросила тряпку и ведро, отвела упавшие на глаза волосы.

— Ой, какой мокрый, Андрей Сергееч!

— Ничего, — проговорил председатель. — Не сахарный. Этот дождик в самую точку попал. Это, Антонина, можно сказать, хлеб. Ну, как вы тут на новом месте?

— Нам с Николаем нравится. Солнце в доме круглый день не заходит.

— Учеба как?

— Помаленьку. Коле осталось еще одну контрольную написать. Целыми почками сидит. А я отослала все. На сессию скоро вызовут.

— Ладно, вызов придет—отпустим. Не вы одни. Тридцать заочников в колхозе, — проговорил Прохоров, трогая лошадь. — У Серафимы Ивановны как здоровье?

— Ничего!—закричала уже вслед Антонина.—Только давление большое... А так ничего!

Городок состоял пока из одной улицы. Но Прохоров мысленно представлял себе, как ее пересечет другая, как они образуют площадь, которая будет потом заасфальтирована и обсажена деревьями. Он ехал шагом по мокрой и тихой улице, в конце которой стоял сочный и крепкий стук топоров. Там работали плотники. Топоры взлетали над их головами и сверкали на солнце. Бригадир Аркадий Иванович стоял в проеме окна и осторожными ударами загонял в гнездо раму. Увидев Прохорова, он спрыгнул на землю, бросил топор и подошел к тарантасу.

Председатель поговорил с бригадиром, осмотрел новостройку и вдруг сказал с завистью:

— Эх, и дело у вас веселое! Дай-ка мне, братец, топор свой—маленько потяпаю.

Бригадир с улыбкой подал Прохорову топор, тот, хмуясь и стыдясь своей слабости, повертел в руках топорище, кашлянул:

— Ну, показывай, что рубить...

Встал над бревном, снял влажный пиджак, сдвинул на затылок капроновую шляпу, пошире расставил ноги, обутые в яловые сапоги, и, выдохнув «га-х-х!», ударил с расчетливой силой. Острый клин топора сочно вьелся в дерево. Прохоров чуть повернул топорище и с треском оторвал от дерева крупную белую щепу. Вторую, потоньше, он не стал отрывать совсем, только отвернул ее, чтобы не мешала. Затем прижал к ней третью, четвертую, и когда конец бревна как бы закудрявился, он

взмахнул посильней и точным чистым ударом снес их все сразу.

Он работал с упоением, по щекам поползли щекочущие капли пота, но Прохоров все рубил и рубил. Разогнулся, вытер мокрое счастливое лицо рукавом и, отдавая топор бригадиру, проговорил:

— Мальчишкой мечтал плотником стать.

Сел на бревно и стал мелко обмахивать лицо шляпой.

— Андрей Сергеич!—крикнул ему сверху молодой плотник Толька Звонков. — А какое мы имя нашему городку дадим? Вон сколько понастроили, а он еще без названия.

— Сперва достроить надо!—Председатель, сощурясь от солнца, посмотрел вверх.

— Зачем ждать-то!—опять закричал Толька.—Знаете, как назовем его? Майск. Красивше не придумаешь.

— Ты, брат, погоди спешить-то! «Майск». Может, другие захотят по-иному как.

...Едва Прохоров поднялся на гору на обратном пути из городка, как увидел застрявшую на мокрой дороге серую райкомовскую «Волгу». Секретарь райкома Лопатин стоял рядом с машиной и из-под ладони глядел куда-то против солнца.

— Засели, брат!—весело закричал он, завидев Прохорова.—Ждем, когда подсохнет. Погоди, покурим немножко.

Они закурили. Лопатин, поглядывая то на Прохорова, то на сверкающую мокрыми крышами улицу городка внизу, заговорил:

— На пустом месте столько понастроили. Просто молодцы. Это что, вон там, на отшибе?

— Мастерская,—ответил Прохоров.—А в центре—универмаг. На прошлой неделе открыли. Больницу застраиваем, вон, левее гляди.

Они помолчали.

— Ну, а скажи честно, Андрей Сергеич, много ли лиха хлебнул с этой стройкой? Ведь когда начинали, помнишь, ты из района не вылезал—то стройматериалу тебе, то техники.

— Всяко бывало,—улыбнулся Прохоров.—Но, по правде сказать, счастье я все время испытывал. Даже тогда, когда трудно было. Сейчас-то легче стало. Доходы возросли. Люди воспрянули духом. Силу обрели.

Солнце перевалило за полдень. Опять напарило, и на горизонте снова поднимались лиловые груды облаков. На траве еще кое-где проблескивали дождевые капли, все вокруг было наполнено буйной весенней силой.

— А красивое слово «Майск»?—без всякой видимой связи спросил вдруг Прохоров.

— С чего ты вдруг?

— Надо мне,—сказал Прохоров и загадочно улыбнулся.